



АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

КУПРИН

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

**БЕЛЫЙ
ПУДЕЛЬ**

р у с с к а я к л а с с и к а

Эксклюзив: Русская классика

Александр Куприн

Белый пудель

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Куприн А. И.

Белый пудель / А. И. Куприн — «Издательство АСТ»,
— (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-163218-2

В сборник вошли замечательные рассказы Куприна, знакомые нам еще с детских лет, которые стали классикой и являются неотъемлемой частью школьной программы по литературе. «Белый пудель», «Чудесный доктор», «Тапер», «Слон», «Детский сад», «Барбос и Жулька», «Фиалки», «Сапсан» и многие другие произведения открывают для нас добрый и отзывчивый мир, в котором есть и ночная ловля раков, и невероятная дружба дворового пса Барбоса и комнатной Жульки, и бродячая труппа с артистичным белым пуделем Арто...

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-163218-2

© Куприн А. И.
© Издательство АСТ

Содержание

Бонза	7
На реке	12
Собачье счастье	16
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Александр Иванович Куприн

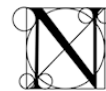
Белый пудель

© ООО «Издательство АСТ», 2024

* * *

А.И. КУПРИН

БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

Бонза

Это было в ночь под Светлое Христово воскресенье. Я и мой близкий приятель, доктор Субботин, долго ходили по улицам города, приглядываясь к его праздничному, так необычайному в ночное время, движению и изредка обмениваясь впечатлениями. Я очень любил общество доктора. Несколько лет тому назад у него умерло четверо детей, и в конце концов жена оставила доктора, после того, как обоим убедились, что они не понимают друг друга со дня женитьбы. Да и вообще во всей своей жизни Субботин был неудачником, от школьной скамьи и до седых волос. Но несчастья не озлобили и не очерстили его сердца, а только придали его манерам, голосу, всему его существу отпечаток ленивой грусти. Он был прекрасным собеседником и очень внимательным слушателем.

Наконец мы взобрались по длинной плитяной лестнице с широкими и низкими ступенями на самый верх Ярославовой горы, господствующей над всем городом, и уселись на одной из скамеек, устроенных для публики вдоль очень высокого и очень крутого обрыва. У наших ног расстился город. По двойным цепям газовых фонарей мы могли отсюда видеть, как подымались по соседним горам и вились вокруг них улицы. Сияющие колокольни церковей казались необыкновенно легкими и точно прозрачными. В самом низу, прямо перед нами, белела еще не тронувшаяся река с черневшими на ней зловещими проталинами. Около реки, там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу: точно большая процессия с зажженными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила луна. В прозрачном воздухе, в глубоких, резких тенях от домов и деревьев, в дрожавших перебивах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность...

Я сидел, растроганный воспоминаниями тех радостных и наивных ощущений, которые в детстве возбуждал в моей душе этот великий праздник. Мной постепенно овладела острая и сладкая грусть, всегда сопровождающая воспоминания детства, – нечто вроде бессильного сожаления о невозможности еще раз испытать эти яркие и свежие впечатления.

И, как будто бы отзываясь на мои мысли, Субботин вдруг заговорил своим тихим, протяжным и грустным голосом:

– Каждый раз в эту ночь я никак не могу оторваться памятью от одного события из моей детской жизни. Странно: уж, кажется, меня жизнь так мыкала, что много есть чего вспоминать. Но все стерлось, выдохлось, поблекло, а эта незатейливая история стоит передо мной с такой удивительной живостью, будто она только вчера произошла. И когда я ее кому-нибудь рассказываю, то опять переживаю самые мелкие мелочи своих тогдашних ощущений.

Я, более из вежливости, чем из любопытства, попросил доктора поделиться со мной этой историей (я видел, что ему очень хочется ее рассказать). Сначала я слушал рассеянно и принужденно, следя глазами за облаками, быстро набегавшими на месяц и внезапно проникавшими оранжевым сиянием. Но потом безыскусственный рассказ доктора мало-помалу увлек меня и растрогал.

– Мне шел тогда восьмой год. Говорят, что через каждые семь лет меняется у человека и наружность, и состав крови, и характер, и привычки. Может быть, в этом и есть доля правды. По-моему, семилетний возраст действительно влечет за собою перелом в ребяческой душе: в это время дети так жадно и беспорядочно набираются впечатлений, что даже худеют и делаются рассеянными...

Мы жили в Москве. Отец был вечно занятый, серьезный человек. У меня мало о нем сохранилось воспоминаний: ясно представляю себе только его лысую голову, длинную черную бороду с приятным запахом табака и белые, большие руки. Мать – кроткая, болезненная женщина, очень худая и рано состарившаяся – побаивалась своего мужа, была с ним нежна, с оттенком грусти, и постоянно куталась в серый платок из «козьего пуха». Нас, детей, было

трое: я и Зинаида – почти ровесники и старшая – Надежда, совершеннолетняя, уже невеста. В этом году, за неделю до Пасхи, возвратился из кругосветного плавания ее жених – морской офицер, и гостил в Москве в ожидании Фоминой недели, на которой назначен был день свадьбы. Пребывание Николая Николаевича в нашем доме делало приближающийся праздник особенно торжественным. Я и Зина прекрасно знали, что за приготовления ведутся на кухне, и понимали, почему они гораздо пышнее, чем в прошлом году, но молчали. Дети почти всегда отлично понимают то, что им считают лишним объяснять, но из привычного недоверия к взрослым они очень ловко таят свое понимание.

Надежда важничала, чувствуя себя центром общего внимания и забот. Мы с Зиной отлично видели, что у нее в обыкновенное время не бывает ни той походки, ни того голоса, ни такой улыбки, как при женихе, и мы объяснили себе это тем, что Надька «ломается» и «что-то такое из себя строит, но у нее ничего не выходит». Часто, подсмотрев вечером в гостиной, как они целуются на диване, мы с невинным видом, взявшись за руки, проходили мимо них, заставляя их краснеть и отскакивать друг от друга. Ко мне Надежда относилась с тем презрительным, но сторожким невниманием, с каким всегда держат себя взрослые барышни по отношению к братьям-мальчишкам, всегда перепачканным, всегда готовым наступить на платье, угодить в лицо мячом или с разбегу подкатиться под ноги.

Зато Николая Николаевича мы обожали, в особенности я. Я прямо был влюблен в него, влюблен слепо, страстно и бескорыстно. Он казался мне образцом ума, силы и смелости. Я не изменял ему года четыре, и одним из моих любимейших развлечений в гимназии было иллюстрировать на маленьких, однообразного формата бумажках все те рассказанные им приключения из его жизни, которые я слушал и сохранял в памяти, как нечто священное. Да и нельзя было не любить этого высокого, сильного, краснощекого красавца с оглушительным голосом и заразительным смехом, всегда готового возиться и школьничать. Он от чистого сердца играл иногда с нами, детьми, и сестра Надежда глядела тогда на него – о, как мы это хорошо видели! – с натянутой улыбкой на губах и с ревностью во взоре. Мы с Зиной показывали ей язык и исполняли за ее спиной «пляску людоедов», едва она отворачивалась от нас.

Возвратившись из плавания, он всем нам привез подарки: чесунчу, японские и китайские безделушки, зонтики, веера, кокосовые орехи... Особенно хороша была вещица, которую он подарил своей невесте. Она представляла миниатюрную японскую пагоду из старой бронзы, увешанную цепями, колокольчиками, медальонами и другими побрякушками. Дверцы пагоды были растворены настежь и позволяли видеть сидящего в ней на корточках фарфорового бонзу с качающейся головой. Эта игрушка казалась мне великолепнейшим созданием искусства. Верхом счастья для меня была бы возможность хоть немного подержать ее в руках и самому заставить бонзу покачать головой. Но я отлично знал, что Надежда никому не позволяла прикасаться к своим вещам.

Наступила Страстная суббота. Меня с сестрой то и дело высылали из комнаты в комнату, потому что мы всем мешали. «Хоть бы вы занялись чем-нибудь», – говорила мать, которой мы ежеминутно попадались под ноги. Но мы слишком были заинтересованы всем происходившим в доме, чтобы чем-нибудь заняться.

Вечером в полутемной зале расставили столы, накрытые новыми скатертями. Заглядывая украдкой в двери, отворявшиеся лишь на мгновение, мы мельком видели покрывавшие эти столы куличи, пасхи, окорока, бутылки и еще какие-то предметы. До нас доносился даже запах сдобного теста и ванили.

По мере того как приближалось время заутрени, наши нервы напрягались и волнение росло. В комнатах было темно, взрослые говорили мало и вполголоса, и все это, в связи с таинственными приготовлениями в зале, настраивало нас на ожидание чего-то чудесного, прекрасного и неожиданного.

Однако мы так устали и переволновались за день, что часов в десять вечера уже не в силах были бороться со сном и прикорнули в углу широкого турецкого дивана в гостиной. Засыпая, я случайно слышал, как в зале разговаривали сдержанные голоса и звенела посуда.

Потом нас разбудили. Еще не проснувшегося, дрожащего от холода и волнения, меня одели в лиловый бархатный костюмчик с белым кружевным воротником и повели в гостиную. Там уже все были в сборе: отец во фраке, надушенный и представительный, мать в палевом широком роброне, Надежда, казавшаяся чопорной, в белом платье, и Николай Николаевич в новом мундире, в широко открытой, ослепительно-белой, туго накрахмаленной рубашке. Все суетились, хотя и говорили вполголоса, а эти быстрые приготовления придавали нам такой вид, как будто бы мы составляли важный заговор.

Все, что происходило дальше, слилось для меня в одно сплошное и сложное впечатление блеска и радости. Я помню в этом блаженном сне только некоторые моменты. Когда крестный ход, обойдя вокруг церкви, приблизился к распахнувшимся средним дверям входа, то ожидание чуда, которое сейчас, вот сию секунду должно произойти, наполнило меня трепетом радостного испуга. За дверями стройные голоса, как будто бы дрожащие от восторга, громко запели: «Христос воскрес из мертвых». Священник вошел в новой ризе и приветливым, звучным голосом, благословляя прихожан трехсвечником, принес нам ту радостную весть, которую мы так нетерпеливо ожидали: «Христос воскрес!» И я, замирая и холодея от восторга, сознавая, что и я участвую в общей великой радости, выкрикивал громко: «Воистину воскрес!»

Николай Николаевич, похристосовавшись со мною, поднял меня на руках кверху, и я увидел целое море обнаженных голов и горящих свеч. Я обернулся назад и увидел множество светлых и добрых лиц и много глаз, которые блестели, отражая пламя свеч. Даже сестра Надежда показалась прекрасной в этот момент. Лицо ее, близко освещаемое свечой, сделалось белым и нежным, глаза потемнели и сверкали, от бровей падали на лоб длинные тени, и зубы красиво блестели, когда она улыбнулась, не поворачивая головы, Николаю Николаевичу.

Домой мы шли, держа в руках зажженные свечи, стараясь, чтобы они не потухли. Но только одной маме удалось донести свечу, и она провела огнем от нее крест на косяке парадных дверей.

В зале было так светло и весело, что я не узнал ее. Оживленно разговаривая и шумя стульями, мы усаживались за стол. В это время сестра Надежда, пожимая плечами, сказала, что ей холодно. Растроганный заутреней и ожиданием многих вкусных вещей, я взялся принести ей из комнаты платок. Она согласилась, и, когда я со свечой в руках побежал из зала, она крикнула мне вслед:

– Только смотри ничего не трогай у меня на комод!

Я очень скоро нашел ее платок, который лежал на спинке кресла, и уже вышел из дверей комнаты, как вдруг за моей спиной раздался звон и треск бьющегося фарфора. Я обернулся и увидел японскую пагоду лежащей на полу и рядом с ней разбитого бонзу.

Как это могло случиться, я не понимаю, но задеть игрушку я во всяком случае не мог, потому что проходил от нее шагах в пяти. Я поднял бонзу с полу и с чувством жалости к нему стал приставлять один к другому поломанные бока его туловища. Вдруг я услышал быстрые шаги Надежды, привлеченной, вероятно, шумом упавшей игрушки. Повинуясь мгновенному чувству страха, что меня могут заподозрить в нечаянной или умышленной порче сестриной вещи, я быстро бросил обломки на пол, но сделал это так неловко, что вбежавшая сестра заметила мое движение.

– Что ты наделал, дрянной мальчишка? – закричала она, хватая меня за плечо. – Ведь я тебе говорила, чтобы ты не трогал моих вещей. Как ты смел?.. Как ты смел?

Она была ужасно рассержена и, крепко вцепившись в мое плечо, повлекла меня в залу.

– Посмотри, папа, что он наделал, – жаловалась она со слезами в голосе, показывая при этом черепки разбитой игрушки. – Это он нарочно, нарочно сделал, скверный мальчишка.

И она расплакалась.

– Зачем ты это сделал? – спросил отец строгим голосом, вынимая из рук Надежды обломки и так же, как я за минуту перед этим, машинально составляя их вместе. – Сестра ведь предупреждала тебя!

Я отвечал, заикаясь:

– Папа, честное слово... это... не я... Я до нее... даже... не дотрагивался. Она сама упала, когда я выходил...

– Он лжет! Он лжет! – взвизгнула Надежда, отрывая платок от мокрого и злого лица. – Я сама видела, как он бросил куски на пол.

– Зачем же ты еще лжешь? – спросил отец, нахмуриваясь. – Если у тебя в руках были куски, значит, ты брал эту вещь.

Но я краснел, чувствуя, что все подозревают меня во лжи, и только твердил:

– Это не я... это не я... Я выходил, а она вдруг упала... Я взял ее с полу, чтобы посмотреть.

Тогда вступилась мама:

– Послушай, Дмитрий, зачем ты нам портишь такой великий праздник? Признайся и попроси у Нади извинения... И все будет кончено.

Лицо у нее было доброе и испуганное; ей, по-видимому, хотелось поскорее прекратить эту неприятную историю. Николай Николаевич сидел, опустив глаза в тарелку, и я видел, что он мучится за меня. Зина, выпрямившись на стуле, глядела взрослым в глаза и всем своим видом благонаправленной девочки точно хотела сказать: вы видите, это только он такой дурной мальчик, а я всегда веду себя хорошо и стараюсь никогда не огорчать папу и маму.

– Я прошу тебя не вмешиваться, – сурово перебил отец маму, – он сам должен знать, что ему делать.

Я чувствовал в эту минуту, что исполни я требование матери, и все обошлось бы хорошо. Меня пожурили бы немного, но потом все бы смягчилось, не желая портить хорошего настроения... Но во мне заговорила гордость, и я упрямо, с ужасом в сердце, повторял:

– Это не я... это не я... Он сам упал и разбился.

Тогда отец, раздраженный и покрасневший, схватил меня очень больно за шею и вытолкнул из комнаты.

– Ты лгун, и тебе не место с честными людьми, – закричал он мне вслед. – Убирайся в свою комнату и не смей приходить сюда!

Я убежал и бросился на свою кровать, лицом в подушки. Сначала мне казалось, что я задохнусь от избытка слез, кипевших у меня в груди и острым клубком распиравших мое горло. Я царапал подушку ногтями и грыз ее. Потом слезы прекратились, но мне уже нравились эти слезы несправедливо обиженного и страдающего мальчика, и я силился их вызвать воспоминаниями нанесенной мне обиды. Наконец глаза мои совсем высохли, и только легкое чувство насморка и жажда напомнили о слезах. Тогда я дал волю своему воображению. Я решил завтра же убежать из дому, захватив предварительно в кухне побольше хлеба, и поступить в монастырь. Я чрезвычайно живо представлял себе, как привратник ведет меня к настоятелю. «Что же вас привело в монастырь? – спрашивает меня настоятель, седой, высокий старик, с длинной бородой, в черной скуфье с нашитым на ней белым крестом. – Вы еще молоды, чтобы отречься от мира». Но я отвечаю ему: «Святой отец, меня изгнала из дома ненависть моих родителей. Меня преследовали, мучили и... и даже сказали, что я разбил японского бонзу...» Потом я представлял себе, как отец и мать, долго отыскивавшие меня, приезжают наконец в монастырь и узнают меня в черной монашеской одежде. Они со слезами просят меня воротиться к ним, раскаиваясь в своих подозрениях относительно бонзы. Я, конечно, прощаю их, но мне невозможно воротиться. Увы!.. Теперь уже слишком поздно. Я посвятил себя богу. И много дру-

гих то мстительных, то великодушных картин рисовалось в моем воображении. Через полчаса дверь детской тихо скрипнула, и я услышал голос Николая Николаевича, спрашивающий тихо:

– Где ты, Митя?

Я молчал. Да мне, огорченному так жестоко и незаслуженно, как-то и неловко было бы отвечать.

Но он сам в темноте отыскал меня, нагнулся надо мной и, щекоча мои щеки своими душистыми усами, стал меня целовать.

– Иди, Митя, в залу, иди, голубчик, – говорил он ласково. – Сделай мне удовольствие, если меня любишь. Ну извинись, ну что тебе стоит? Пойдем вместе.

Но я, хотя и расплакался, согретый этой неожиданной лаской, все-таки отказывался еще упорнее, чем раньше, выйти в залу. И Николай Николаевич вздохнул и, потрепав меня по спине, оставил меня в покое.

Уж рассветало, когда пришла мама, чтобы раздеть младшую сестру. Она подошла к моей кровати и пристально посмотрела на меня. Но я притворился спящим. Она перекрестила меня и, придвинув к моей постели стол, поставила на него кусок пасхи, ломоть кулича и красное яичко.

Доктор Субботин помолчал, поерошил под шляпой волосы и прибавил:

– И вот, сколько со мной потом ни случилось огорчений и передраг, а эта неприятность с японским болванчиком одна только не изгладилась из моей памяти и стоит в ней, точно живая. И всегда это воспоминание о первой людской несправедливости, которую я испытал, вызывает во мне печальное и нежное воспоминание.

На реке

– Паньч! А паньч? – послышался за окном торопливый шепот.

Я лежал на кровати не раздеваясь, и, как ни боролся с дремотой, но именно в эту самую минуту она уже начинала закачивать меня своим томным дыханием. Вслед за шепотом раздался осторожный, но настойчивый стук пальцев по стеклу. Это вызывал меня наш старый повар Емельян Иванович, с которым мы уговорились идти ночью ловить на мясо раков. Я встал и, стараясь не шуметь, отворил окошко. Через минуту я уже очутился на земле, возле Емельяна Ивановича, дрожа спросонок и от волнения, возбуждаемого во мне предстоящим удовольствием.

С непривычки я сначала ничего не мог рассмотреть. Ночь была так черна, как бывают только черны жаркие безлунные июльские ночи на юге России. В неподвижном, точно ленивом воздухе стоял тягучий, сладкий аромат резеды, наполнявшей палисадник, и нежный, но приторный запах цветущей липы. Ни один звук не нарушал глубокой тишины, кроме далекого, утихающего тархтенья телеги.

– Мамашенька не проснулись? – спросил тревожным шепотом Емельян Иванович.

– Нет, нет, никто не слышал... Вы все захватили, Емельян Иванович? И сачок? И мясо? И лейку?

– Тсс... не шумите, паньч... Мамашенька проснутся, так нас обоих заругают... Ну идем, что ли.

Мы пошли вдоль пустыря узкой дорожкой, между двумя стенами густого, высокого, гораздо выше человеческого роста бурьяна... Мне все казалось, что вот-вот я натолкнусь на какое-то препятствие, и потому я часто останавливался и, крепко жмуря глаза, протягивал вперед руки. Мне было несколько жутко, но новизна впечатлений, а главное – их запретность, придавали им такую острую прелесть, что даже и теперь, через двадцать пять лет, вспоминая об этой ночи, я испытываю радостное и тоскливое стеснение в груди.

Вдруг я натолкнулся на Емельяна Ивановича. Он стоял и копошился над чем-то в темноте.

– Что вы делаете, Емельян Иванович? – спросил я, ощупывая руками его спину.

Старик, видимо, старался что-то отвинтить. Он отвечал мне с расстановками, тяжело пыхтя от усилий:

– Да вот хочу... ишь ты, как завернули, прах их возьми... хочу... крышку снять с факела... заржавела, должно быть... ну, теперь пошла... пошла... готова!

Я услышал чирканье спички, и керосиновый факел вспыхнул красным, коптящим, колеблющимся пламенем. Лицо Емельяна Ивановича сделалось суровым и странно изменилось. От густых бровей, носа и усов легли на него длинные, косые дрожащие тени. Мы пошли дальше. Теперь мне стало еще жутче, чем в темноте. Хорошо знакомые кусты бурьяна казались толпою обступивших нас со всех сторон призраков, тонких и расплывчатых. Пламя факела трепетало с тихим рокотом, длинная тень шедшего впереди Емельяна Ивановича металась то вправо, то влево, а длинные призраки волновались, забегали вперед, падали на землю и быстро убегали назад, исчезая в темноте за моей спиной; иногда они вдруг сдвигались в тесную толпу и покачивались, точно о чем-то сговариваясь между собой.

Бурьян кончился. Перед нами расстилалось поле. Запах липы сменился острым запахом росистой травы и меда. От недалекого Булавина повеяло прохладой. В степи кричали миллионы кузнечиков, и кричали так странно, громко и ритмично, что казалось, будто кричит всего один кузнечик.

Мы спустились к узенькой речке, которая ровной, спокойной, темной полосой протекала между невысокими, но крутыми берегами, поросшими густым лозняком.

Около берега вода мелодично и монотонно хлюпала, огибая заливчики и обнажившиеся корни кустов. Емельян Иванович выбрал между двумя ивами удобное сухое местечко и воткнул длинную палку факела в глинистое дно, недалеко от берега. На воду тотчас же легло большое, дрожащее мутно-коричневое пятно, в середине которого зарябилось яркое отражение огня.

Наши приготовления были несложны. Мы обвязали тонкой бечевкой крест-накрест большой кусок мяса; на аршин выше пристроили поплавок из сухой веточки, и затем Емельян Иванович опустил эту приманку в воду, держа другой конец в руках. Я должен был с сачком, сделанным из моей старой соломенной шляпы, дожидаться, когда рак появится над водой, чтобы подхватить его. Жирное мясо опускалось очень медленно, точно тая в коричневой воде. Я долго еще видел его под водою; наконец оно исчезло, и поплавок стал неподвижно.

– Вот мы теперь с вами, паньч, и табачок покурим, – сказал Емельян Иванович, усаживаясь получше и расправляя ревматические ноги. – Ишь, на том берегу и лошадки пасутся... травку себе кушают...

Я загордил глаза ладонью от света. Река в этом месте была не широка, всего шагов десять или пятнадцать, и я разглядел двух лошадей. Одна – белая – стояла боком и, повернув к нам костлявую шею, смотрела на нас пристально и равнодушно. Дальше за ней виднелась только морда, наклоненная к земле, и связанные ноги другой лошади, должно быть, гнедой или рыжей масти; я слышал, как она звучно фыркала и хрустела челюстями, пережевывая траву. Еще дальше – глаз тонул в непроницаемой, густой тьме, из которой выдвигалось вперед несколько ближних кустов, захваченных светом факела; сплошные купола их бледных, тонких и длинных листьев казались какой-то причудливой оперной декорацией. Звезды отражались в воде, мерцая и расплываясь.

Поплавок дрогнул и стал колыхаться.

Я зашептал взволнованно:

– Емельян Иванович... Клюет! Тащите ради бога!..

Но старик только покачал с досадою головой. Поплавок продолжал двигаться, описывая круги и изредка коротко ныряя передней частью под воду. Я – стараясь не дышать, упершись ногами в торчащий из реки пенек и протянув вперед палку с сачком – мучился нетерпеливым ожиданием. Вдруг поплавок совершенно исчез под водою. Емельян Иванович медленно потянул веревку вверх. Через минуту я увидел казавшийся громадным кусок мяса и клешни вцепившегося в него рака.

– Держите! – воскликнул старик и быстро дернул за веревку.

Я поставил сачок... Наши движения инстинктивно и ловко сошлись: в сачке, из которого звонко капала в реку вода, бился, судорожно щелкая шейкой, огромный черный рак. Емельян Иванович взял его двумя пальцами за спину и с торжеством поднял на воздух. Рак был более полутора четвертей. Он продолжал щелкать шейкой, поводил в стороны передними лапами, сводя и разводя клешни, и шевелил длинными усами. Емельян Иванович бросил его в лейку.

После первого рака ловля пошла очень успешно. То и дело старик вытаскивал из сачка черных уродов, радуясь им так же искренно и громко, как и я, десятилетний мальчишка. И к каждому раку он непременно приговаривал что-нибудь забавное, прежде чем его опустить в лейку.

– А, господин рачитель, попались? – спрашивал он с комическим злорадством. – Пожалуйте, пожалуйста в компанию. Там вам веселее будет.

Или:

– Мое почтение, господин Раковский. Ждали с нетерпением вашего приезда. Милости просим.

Три или четыре рака от нас ушли. В этих случаях мы горячились и осыпали друг друга едкими упреками. Но едва поплавок вздрагивал в воде, – наша вражда мгновенно утихала, и мы снова с дрожщими от волнения руками, шепотом подзадоривали друг друга:

– О-о! Вот как потянул! Должно быть, громадный Раковецкий клюет!..

В младенческом восторге мы называли наших жертв самыми чудовищными именами. Необычное бодрствование, красота ночи и страсть рьяных рыболовов взволновали и опьянили нас.

Но после десятка дело пошло хуже. Двенадцатого рака мы дожидались около четверти часа.

– Что это ничего не ловится, Емельян Иванович? – спросил я раздраженно.

Он развел руками.

– Господь его знает. А может быть, те, что от нас по вашей милости ушли, взяли да и рассказали другим, какие мы есть на свете хитрые люди. Почем знать?

– Ну вот пустяки! Разве может рак рассказывать что-нибудь? У него и голоса-то нет...

– Э! Вы не говорите так. У него голоса нет, нет, а все-таки он – животное умное. Даром что! Уж как-нибудь там... жестами, что ли, а наверно передаст...

Мы молчали, на меня нашло то странное, неподвижное очарование тишины, которое испытывается только в самом раннем детстве. Я глядел, не отрываясь, на красный огонь факела. В голове у меня не было ни одного обрывка мысли, но ощущение чего-то стройного, прекрасного и нежного переполняло мою душу. И в те же минуты мне казалось, что я чувствую, как мимо меня торжественно проплывает что-то огромное, как мироздание...

Не время ли проходило около меня?..

Вдруг пахнуло ветерком. Привлеченная нашим огнем, мимо нас низко, легко и бесшумно пролетела какая-то большая серая птица. Я вздрогнул. Очарование исчезло, и мне стало немного скучно.

– Скажите, Емельян Иванович, – спросил я лениво, – почему эта река называется Булавин?

Старик пожевал губами.

– А бог ее знает. Назвали Булавином добрые люди, и называется она Булавином.

– И все?

– Конечно, все. Рассказывают хохлы, что здесь будто бы, в Галочьей Скелье, когда-то жил разбойник, по фамилии Булавин... Ну да мало ли чего эти глупые хохлы болтают. Всего не переслушаешь.

Я так и задрожал от нетерпенья.

– Голубчик, Емельян Иванович, расскажите. Миленький, расскажите про Булавина...

– Да что тут рассказывать? – проворчал старик и принялся насасывать свою короткую носогрейку. – Чего тут рассказывать-то? Ну, жил здесь будто бы этот самый Булавин и разбойничал. Был он раньше в пугачевской шайке, а как Пугачева изловили да увезли в Москву, Булавин сюда и перешел с Яика. Набрал он себе шайку таких же, как он, удалых добрых молодцев и давай крещеных людей разорять да насильничать. Был он, говорят, лютее всякого зверя и не то, чтобы резал и жег из нужды, а так себе... из удовольствия... кровь больно уж любил. Бедным людям Булавин сам своею рукою головы рубил, а над богатыми норовил так, чтобы раньше еще натешиться. Нападет он, например, на помещичий хутор, сожжет его дотла, разграбит, а потом мужа и жену, хозяев то есть, велит на цепь посадить, да еще рядышком, да еще друг к дружке лицом. «Любуйтесь, мол, милуйтесь, дорогие хозяева...» Такой зверь был страшный... А поймать его никак не удавалось, хотя за ним сколько раз в погоню царские войска ходили... Был вчера здесь, а ноньче нет, и поминай, как звали... Потому что мужики его боялись хуже смерти и доносить на него не смели.

– Так его и не поймали?

– Нет, потом поймали. Девка его выдала. Полюбил он девку, дочь здешнего мельника, и украл ее из родительского дома. Однако девка эта охотою не желала идти. «Ты, говорит, злодей, ты дьявол во плоти, на тебе по самую маковку христианская кровь засохла...» Ну, он ее, конечно, не послушал... взял силой. Тогда она ему и сказала: «Не хотел ты меня пожалеть, погубил ты мою девичью молодость и красоту, так смотри же, и я тебя не жалею за это». Так и сделала. Однажды, когда Булавин со своими молодцами бражничал у жида в корчме, пошла эта самая мельничиха к полковнику, который был в эту погоню назначен, и все выдала. «Вот, дескать, он там-то и там, сокол наш ясный, идите и возьмите его». Ну, солдаты, конечно, сейчас оцепили корчму и закрыли крышу, а как только Булавин из окна выпрыгнул, они на него невод набросили и связали. Потому что иначе никто к нему приступить не решался. Да. Так и связали его, голубчика, и отправили связанного в Москву, а в Москве ему палач отрубил сначала руки, потом ноги, а потом уж голову. А остатки сожгли на костре и прах развеяли на все четыре стороны.

Старик замолчал. Начинало светать. Это было заметно по тому, что мгла стала слегка сероватой, и на другом берегу около лошадей я уже мог разглядеть трех крестьянских ребятишек, лежавших на животах. Емельян Иванович вдруг заволновался и, придвинувшись ко мне, заговорил пониженным, испуганным голосом:

– А ведь это неправда, что его в Москве четвертовали, потому что в Москву привезли не его, а какого-то другого казака. А самому Булавину господь придумал другое наказание... Говорят, что ангелы божьи схватили разбойника на руки, вынесли из огня и заключили в глубокую подземную пещеру, около Галочьей Скельи... И должен Булавин в той пещере, – голос старика становился все таинственнее, – сидеть до второго пришествия... Цепь железная обвивает его тело, а длинная-предлинная желтобрюхая змея день и ночь гложет его сердце... Хохлы, которые ездили мимо, говорят, что слышно иногда, как ворочается проклятый богом разбойник под землю и гремит своею цепью... все разорвать ее хочет...

Холод ужаса пробежал вдруг волною по моему телу, отвердели волосы на голове. Я боялся обернуться назад.

– Говорят еще, – продолжал старик, со страхом озираясь кругом, – говорят еще, что раз в год выходит Булавин из своей пещеры... Случается это летом, в воробьиную ночь... Ходит он по лесам, по болотам и полям; ростом выше самых больших деревьев, а на плече у него целая сосна вместо дубинки. И если в эту ночь, спаси господи, встретит он кого-нибудь на дороге, сейчас заревет страшным голосом и своей дубинкой убивает. Потому в воробьиные ночи никто уж из дому не выходит, а старухи до утра молятся перед образами...

Емельян Иванович поглядел на мое искаженное ужасом лицо и прибавил с неестественным смехом:

– Ну, да ведь это пустяки, басни одни. Мало чего хохлы не набрешут. Разве это может случиться, чтобы целый век змея у человека сердце глодала?.. Глупости одни... Ох, господи, царица небесная! – закричал старик, делая усилие встать. – Пойдем-ка, паныч, домой... все равно больше ничего не поймашь...

Мы собрали наше имущество и пошли. Опять, когда мы проходили бурьяном, суетились и плясали высокие призраки, и я, замирая и холодея от страха, держался рукой за фалды повара пиджака. Мне все казалось, что если я погляжу в сторону, то увижу где-нибудь на горизонте шагающую с дубинкой на плече огромную человеческую тень, возвышающуюся над деревьями нашего сада, которые уже обрисовывались смутно в туманном рассвете.

Собачье счастье

Было часов шесть-семь хорошего сентябрьского утра, когда полуторагодовалый пойнтер Джек, коричневый, длинноухий, веселый пес, отправился вместе с кухаркой Аннушкой на базар. Он отлично знал дорогу и потому уверенно бежал все время впереди, обнюхивая мимоходом тротуарные тумбы и останавливаясь на перекрестках, чтобы оглянуться на кухарку. Увидев в ее лице и походке подтверждение, он решительно сворачивал и пускался вперед оживленным галопом.

Обернувшись таким образом около знакомой колбасной лавки, Джек не нашел Аннушки. Он бросился назад так поспешно, что даже его левое ухо завернулось от быстрого бега. Но Аннушки не было видно и с ближнего перекрестка. Тогда Джек решил ориентироваться по запаху. Он остановился и, осторожно водя во все стороны мокрым подвижным носом, старался уловить в воздухе знакомый запах Аннушкиного платья, запах грязного кухонного стола и серого мыла. Но в эту минуту мимо Джека прошла торопливой походкой какая-то женщина и, задев его по боку шуршащей юбкой, оставила за собою сильную струю отвратительных китайских духов. Джек досадливо махнул головою и чихнул, – Аннушкин след был окончательно потерян.

Однако пойнтер вовсе не пришел от этого в уныние. Он хорошо был знаком с городом и потому всегда очень легко мог найти дорогу домой: стоило только добежать до колбасной, от колбасной до зеленой лавки, затем повернуть налево мимо большого серого дома, из подвалов которого всегда так вкусно пахло пригорелым маслом, – и он уже на своей улице. Но Джек не торопился. Утро было свежее, яркое, а в чистом, нежно прозрачном и слегка влажном воздухе все оттенки запахов приобретали необычайную тонкость и отчетливость. Пробегая мимо почты с вытянутым, как палка, хвостом и вздрагивающими ноздрями, Джек с уверенностью мог сказать, что не более минуты тому назад здесь останавливался большой мышастый молодой дог, которого кормят обыкновенно овсянкой.

И действительно, пробежав шагов двести, он увидел этого дога, трусившего степенной рысцой. Уши у дога были коротко обрезаны, и на шее болтался широкий истертый ремень.

Дог заметил Джека и остановился, полуобернувшись назад. Джек вызывающе закрутил вверх хвост и стал медленно подходить к незнакомцу, делая вид, будто смотрит куда-то в сторону. Мышастый дог сделал то же со своим хвостом и широко оскалил белые зубы. Потом они оба зарычали, отворотив друг от друга морды и как будто бы захлебываясь.

«Если он мне скажет что-нибудь оскорбительное для моей чести или для чести всех породных пойнтеров вообще, я вцеплюсь ему в бок, около левой задней ноги, – подумал Джек. – Дог, конечно, сильнее меня, но он неповоротлив и глуп. Ишь, стоит, болван, боком и не подозревает, что открыл весь левый фланг для нападения».

И вдруг... Случилось что-то необъяснимое, почти сверхъестественное. Мышастый дог внезапно грохнулся на спину, и какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за этим та же невидимая сила плотно охватила горло изумленного Джека... Джек уперся передними ногами и яростно замотал головой. Но незримое «что-то» так стиснуло его шею, что коричневый пойнтер лишился сознания.

Он пришел в себя в тесной железной клетке, которая тряслась по камням мостовой, дребезжа всеми своими плохо свинченными частями. По острому собачьему запаху Джек тотчас же догадался, что клетка уже много лет служила помещением для собак всех возрастов и пород. На козлах впереди клетки сидели два человека, наружности, не внушавшей никакого доверия.

В клетке уже собралось довольно многочисленное общество. Прежде всего Джек заметил мышастого дога, с которым он чуть не поссорился на улице. Дог стоял, уткнувши морду между двумя железными палками, и жалобно повизгивал, между тем как его тело качалось взад и

вперед от тряски. Посредине клетки лежал, вытянувши умную морду между ревматическими лапами, старый белый пудель, выстриженный наподобие льва, с кисточками на коленках и на конце хвоста. Пудель, по-видимому, относился к своему положению с философским стоицизмом, и, если бы он не вздыхал изредка и не помаргивал бровями, можно было бы подумать, что он спит. Рядом с ним сидела, дрожа от утреннего холода и волнения, хорошенькая, выхоленная левретка с длинными, тонкими ножками и остренькой мордочкой. Время от времени она нервно зевала, свивая при этом трубочкой свой розовый язычок и сопровождая каждый зевок длинным тонким визгом. . . Ближе к заднему концу клетки плотно прижалась к решетке черная гладкая такса с желтыми подпалинами на груди и бровях. Она никак не могла оправиться от изумления, которое придавало необыкновенно комичный вид ее длинному, на вывороченных низких лапках, туловищу крокодила и серьезной мордочке с ушами, чуть не волочившимися по полу.

Кроме этой более или менее светской компании, в клетке находились еще две несомненные дворняжки. Одна из них, похожая на тех псов, что повсеместно зовутся Бутонами и отличаются низменным характером, была космата, рыжа и имела пушистый хвост, завернутый в виде цифры 9. Она попала в клетку раньше всех и, по-видимому, настолько освоилась со своим исключительным положением, что давно уже искала случая завязать с кем-нибудь интересный разговор. Последнего пса почти не было видно; он забился в самый темный угол и лежал там, свернувшись клубком. За все время он только один раз приподнялся, чтобы зарычать на близко подошедшего к нему Джека, но и этого было довольно для возбуждения во всем случайном обществе сильнейшей антипатии к нему. Во-первых, он был фиолетового цвета, в который его вымазала шедшая на работу артель маляров. Во-вторых, шерсть на нем стояла дыбом и при этом отдельными клоками. В-третьих, он, очевидно, был зол, голоден, отважен и силен; это сказалось в том решительном толчке его исхудалого тела, с которым он вскочил навстречу опешившему Джеку.

Молчание длилось с четверть часа. Наконец Джек, которого ни в каких жизненных случаях не покидал здравый юмор, заметил фатовским тоном:

– Приключение начинает становиться интересным. Любопытно, где эти джентльмены делают первую станцию?

Старому пуделю не понравился легкомысленный тон коричневого пойнтера. Он медленно повернул голову в сторону Джека и отрезал с холодной насмешкой:

– Я могу удовлетворить ваше любопытство, молодой человек. Джентльмены сделают станцию в живодерне.

– Как!.. Позвольте... виноват... я не расслышал, – пробормотал Джек, невольно присаживаясь, потому что у него мгновенно задрожали ноги. – Вы изволили сказать: в жи...

– Да, в живодерне, – подтвердил так же холодно пудель и отвернулся.

– Извините... но я вас не совсем точно понял... Живодерня... Что же это за учреждение – живодерня? Не будете ли вы так добры объяснить?..

Пудель молчал. Но так как левретка и такса присоединились к просьбе Джека, то старик, не желая оказаться невежливым перед дамами, должен был привести некоторые подробности.

– Это, видите ли, mesdames, такой большой двор, обнесенный высоким, остроконечным забором, куда запирают пойманных на улицах собак. Я имел несчастье три раза попадать в это место.

– Эка невидаль! – послышался хриплый голос из темного угла. – Я в седьмой раз туда еду.

Несомненно, голос, шедший из угла, принадлежал фиолетовому псу. Общество было шокировано вмешательством в разговор этой растерзанной личности и потому сделало вид, что не слышит ее реплики. Только один Бутон, движи-мый лакейским усердием выскочки, закричал:

– Пожалуйста, не вмешивайтесь, если вас не спрашивают!

И тотчас же искательно заглянул в глаза важному мышастому догу.

– Я там бывал три раза, – продолжал пудель, – но всегда приходил мой хозяин и брал меня оттуда (я занимаюсь в цирке, и, вы понимаете, мною дорожат)... Так вот-с, в этом неприятном месте собираются зараз сотни две или три собак...

– Скажите, а бывает там порядочное общество? – жеманно спросила левретка.

– Случается. Кормили нас необыкновенно плохо и мало. Время от времени неизвестно куда исчезал один из заключенных, и тогда мы обедали супом из...

Для усиления эффекта пудель сделал небольшую паузу, обвел глазами аудиторию и добавил с деланным хладнокровием:

– ...из собачьего мяса.

При последних словах компания пришла в ужас и негодование.

– Черт возьми! Какая низкая подлость! – воскликнул Джек.

– Я сейчас упаду в обморок... мне дурно, – прошептала левретка.

– Это ужасно... ужасно! – простонала такса.

– Я всегда говорил, что люди подлецы! – проворчал мышастый дог.

– Какая страшная смерть! – вздохнул Бутон.

И только один голос фиолетового пса звучал из своего темного угла мрачной и циничной насмешкой:

– Однако этот суп ничего... недурен... хотя, конечно, некоторые дамы, привыкшие к цыплячьим котлетам, найдут, что собачье мясо могло бы быть немного помягче.

Пренебрегши этим дерзким замечанием, пудель продолжал:

– Впоследствии, из разговора своего хозяина, я узнал, что шкура наших погибших товарищей пошла на выделку дамских перчаток. Но, – приготовьте ваши нервы, mesdames, – но этого мало. Для того чтобы кожа была нежнее и мягче, ее сдирают с живой собаки.

Отчаянные крики прервали слова пуделя:

– Какое бесчеловечие!..

– Какая низость!

– Но это же невероятно!

– О Боже мой, Боже мой!

– Палачи!..

– Нет, хуже палачей!..

После этой вспышки наступило напряженное и печальное молчание. В уме каждого слушателя рисовалась страшная перспектива сдирания заживо кожи.

– Господа, да неужели нет средства раз навсегда избавить всех честных собак от постыдного рабства у людей? – крикнул запальчиво Джек.

– Будьте добры, укажите это средство, – сказал с иронией старый пудель.

Собаки задумались.

– Перекусать всех людей – и баста! – брякнул дог озлобленным басом.

– Вот именно-с, самая радикальная мысль, – поддержал подобострастно Бутон. – По крайней мере, будут бояться.

– Так-с... перекусать... прекрасно-с, – возразил старый пудель. – А какого вы мнения, милостивый государь, относительно арапников? Вы изволите быть с ними знакомы?

– Гм... – откашлялся дог.

– Гм... – повторил Бутон.

– Нет-с, я вам доложу, государь мой, нам с людьми бороться не приходится. Я немало помывкался по белу свету и могу сказать, что хорошо знаю жизнь... Возьмем, например, хоть такие простые вещи, как конура, арапник, цепь и намордник, – вещи, я думаю, всем вам, господа, небезызвестные?.. Предположим, что мы, собаки, со временем и додумаемся, как от них избавиться... Но разве человек не изобретет тотчас же более усовершенствованных орудий?

Непреренно изобретет. Вы поглядели бы, какие конуры, цепи и намордники строят люди друг для друга! Надо подчиняться, господа, вот и все-с. Таков закон природы-с.

– Ну, развел философию, – сказала такса на ухо Джеку. – Терпеть не могу стариков с их поучениями.

– Совершенно справедливо, *mademoiselle*, – галантно махнул хвостом Джек.

Мышастый дог с меланхолическим видом поймал ртом залетевшую муху и протянул плачевным голосом:

– Эх, жизнь собачья!..

– Но где же здесь справедливость, – заволновалась вдруг молчавшая до сих пор левретка.

– Вот хоть вы, господин пудель... извините, не имею чести знать имени...

– Арто, профессор эквилибристики, к вашим услугам, – поклонился пудель.

– Ну вот, скажите же мне, господин профессор, вы, по-видимому, такой опытный пес, не говоря уже о вашей учености; скажите, где же во всем этом высшая справедливость? Неужели люди настолько достойнее и лучше нас, что безнаказанно пользуются такими жестокими привилегиями...

– Не лучше и не достойнее, милая барышня, а сильнее и умней, – возразил с горечью Арто. – О! Мне прекрасно известна нравственность этих двуногих животных... Во-первых, они жадны, как ни одна собака в мире. У них настолько много хлеба, мяса и воды, что все эти чудовища могли бы быть вдоволь сытыми целую жизнь. А между тем какая-нибудь десятая часть из них захватила в свои руки все жизненные припасы и, не будучи сама их в состоянии сожрать, заставляет остальных девять десятых голодать. Ну, скажите на милость, разве сытая собака не уделит обглоданной кости своей соседке?

– Уделит, непременно уделит, – согласились слушатели.

– Гам! – крикнул дог с сомнением.

– Кроме того, люди злы. Кто может сказать, чтобы один пес умертвил другого из-за любви, зависти или злости? Мы кусаемся иногда – это справедливо. Но мы не лишаем друг друга жизни.

– Действительно, так, – подтвердили слушатели.

– Скажите еще, – продолжал белый пудель, – разве одна собака решится запретить другой собаке дышать свежим воздухом и свободно высказывать свои мысли об устройении собачьего счастья? А люди это делают!

– Черт побери! – вставил энергично мышастый дог.

– В заключение я скажу, что люди лицемерны, завистливы, лживы, негостеприимны и жестоки... И все-таки люди господствуют и будут господствовать, потому что... потому что так уже устроено. Освободиться от их владычества невозможно... Вся собачья жизнь, все собачье счастье в их руках. В теперешнем нашем положении каждый из нас, у кого есть добрый хозяин, должен благодарить судьбу. Один хозяин может избавить вас от удовольствия есть мясо товарищей и чувствовать потом, как с него живьем сдирают кожу.

Слова профессора нагнали на общество уныние. Более никто не произнес ни слова. Все беспомощно тряслись и шатались при толчках клетки. Дог скулил жалобным голосом. Бутон, державшийся около него, тихонько подвывал ему.

Вскоре собаки почувствовали, что колеса их экипажа едут по песку. Через пять минут клетка въехала в широкие ворота и очутилась среди огромного двора, обнесенного кругом сплошным забором, утыканным наверху гвоздями. Сотни две собак, тощих, грязных, с повешенными хвостами и грустными мордами, еле бродили по двору.

Дверь клетки отворилась. Все семеро только что приехавших псов вышли из нее и, повинаясь инстинкту, сбились в кучу.

– Эй, послушайте, как вас там... эй вы, профессор!.. – услышал пудель сзади себя чей-то голос.

Он обернулся: перед ним стоял с самой наглой улыбкой фиолетовый пес.

– Ах, оставьте меня, пожалуйста, в покое, – огрызнулся старый пудель. – Не до вас мне.

– Нет, я только одно замечаньице... Вот вы в клетке-то умные слова говорили, а все-таки одну ошибочку сделали... Да-с.

– Да отвяжитесь от меня, черт возьми! Какую там еще ошибочку?

– А насчет собачьего счастья-то... Хотите, я вам сейчас покажу, в чьих руках собачье счастье?

И вдруг, прижавши уши, вытянув хвост, фиолетовый пес понесся таким бешеным карьером, что старый профессор эквилибристики только разинул рот. «Лови его! Держи!» – закричали сторожа, кидаясь вслед за убегающей собакой.

Но фиолетовый пес был уже около забора. Одним толчком отпрянув от земли, он очутился наверху, повиснув передними лапами. Еще два судорожных движения, и фиолетовый пес перекатился через забор, оставив на его гвоздях добрую половину своего бока.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.